

ПИСАТЕЛЬ, КОТОРОГО СРАВНИВАЮТ
С РЭЕМ БРЭДБЕРИ

УИЛЬЯМ САРОЯН



ОТВАЖНЫЙ ЮНОША
НА ЛЕТЯЩЕЙ ТРАПЕЦИИ

Уильям Сароян
Отважный юноша на
летающей трапеции (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6900252

Уильям Сароян. Отважный юноша на летающей трапеции: Эксмо; Москва; 2014

ISBN 978-5-699-71463-6

Оригинал: William Saroyan, "The Daring Young Man on The Flying Trapeze"

Перевод:

Арам Оганян

Аннотация

«Отважный юноша на летающей трапеции» – первый сборник Уильяма Сарояна, изданный в 1934 году. Рассказы из этой книги принесли Сарояну славу. «...На американском горизонте появился новый писатель. На первый взгляд размером не больше ладони, это любопытное явление обещает перемену погоды, а может, и циклон», – написал о его дебюте журнал «Тайм». Сегодня, спустя почти столетие, очевидно, что это так и есть: проза Сарояна стала классикой. Совершенно особенный мир, существующий на страницах его произведений, привлекает яркостью, индивидуальностью, неповторимым мягким юмором.

Содержание

Предисловие	4
Отважный юноша на летящей трапеции	15
Во сне	15
Наяву	16
Семьдесят тысяч ассирийцев	19
Среди пропащих	25
Я на этой земле	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Уильям Сароян

Отважный юноша на летящей трапеции (сборник)

Виту Барнету и Марте Фоли посвящается

Предисловие

Второе потерянное поколение

В декабре 1933 года Уильям Сароян получил письмо от редакторов журнала «Стори» Вита Барнета и его супруги Марты Фоли, в котором сообщалось, что его рассказ «Отважный юноша на летящей трапеции» будет напечатан в февральском номере журнала. Здесь печатались такие выдающиеся авторы, как Шервуд Андерсон, Эрскин Колдуэл, Уильям Фолкнер, Гертруда Стайн и другие; а теперь и ему, Сарояну, предоставлялась возможность стать членом этого эксклюзивного клуба. Благодаря этой публикации Сароян впервые получил доступ к общенациональной аудитории (до этого его рассказы печатались во второразрядных журналах).

Сароян решает не останавливаться на достигнутом и начинает писать по одному рассказу в день. Написанное, по два-три рассказа, он посылает своим новым знакомым. В. Барнет и М. Фоли приветствуют инициативу Сарояна и требуют новых рассказов. За один месяц Сароян написал 35—36 рассказов, из которых редакторы отобрали 26. Эти рассказы и вошли в первый сборник рассказов Сарояна «Отважный юноша на летящей трапеции», напечатанный в октябре 1934 года издательством «Рэндом хаус». По вполне понятным причинам книга была напечатана с посвящением Виту Барнету и Марте Фоли.

Среди множества книг, напечатанных в том году на бескрайних просторах Америки, журнал «Тайм» безошибочно разглядел своеобразный стиль Сарояна и откликнулся статьей «Надвигается циклон?»¹, которая начиналась так: «На прошлой неделе на американском горизонте появился новый писатель. На первый взгляд, размером не больше ладони, это любопытное явление обещает перемену погоды, а может, и циклон». Отмечалось, что в произведениях Сарояна отсутствует сюжет и это, возможно, озадачит читателей, воспитанных на старых традициях короткого рассказа.

Прогноз рецензента сбывлся быстрее, чем ожидалось. Выход первой книги Сарояна действительно вызвал бурю негодования у Э. Хемингуэя, которого оскорбили высказывания Сарояна о нем в рассказе «Семьдесят тысяч ассирийцев». В журнале «Эсквайр» (январь 1935) Хемингуэй разразился грубой статьей в адрес Сарояна, а заодно и другого армянина — Майкла Арлена (Тиграна Куюмджяна). Отношения Сарояна и Хемингуэя не улучшились ни десять, ни двадцать лет спустя.

Однако этот окрик и несколько нелицеприятных отзывов в прессе потонули в хоре восторженных голосов критики. Издательство анонсировало выход книги как: «Новое громкое имя в жанре короткого рассказа — САРОЯН! Вот уже много лет ни один автор коротких рассказов не вызывал такого всеобщего интереса и оживления. Он — самый обсуждаемый и востребованный молодой писатель в Америке. Его талант так же ярок, как у Фолкнера, Драйзера и Ларднера».

¹ Cyclone Coming? TIME. Monday. Oct. 22, 1934.

С легкой руки Гертруды Стайн, поколение, прошедшее Первую мировую войну, окрестили «потерянным». Эти слова, адресованные Хемингуэю, распространились на всех, кто выжил в той войне и не нашел себе места в мирное время.

В 1929 году началась Великая депрессия, которая продолжалась до начала Второй мировой войны. Миллионы молодых работоспособных людей, пострадавших от безработицы и безысходности тех лет, литературовед и писатель Харлан Хетчер² назвал «вторым потерянным поколением». Причем он признал Уильяма Сарояна одним из выразителей чаяний и надежд этого поколения в американской литературе:

«В рассказе «Отважный юноша на летящей трапеции» Уильям Сароян сообщает мощный драматизм статистике, столь знакомой каждому стороннему наблюдателю. Этот яркий рассказ и одноименный сборник (1934) стали национальной сенсацией благодаря взрывному эмоциональному воздействию, которое оказывает сдержанное описание одного из молодых членов этого самого второго потерянного поколения, обреченного на голод и отчаяние. Усилия Сарояна, направленные на то, чтобы разогнать апатию общества к человеческой стороне этой трагедии, вылились в новый сборник рассказов «Вдох и выдох» (1936). Лучшие из этих зарисовок обнажают его собственную подавленность и безысходность его безработных современников... И Сароян – лишь один из десятков авторов коротких рассказов, формирующих облик этого второго потерянного поколения».

В 1934 году Сароян писал о Депрессии, тоже сравнивая ее с войной:

«Много грустных разговоров ведется про Великую войну. А что сказать про нынешнюю войну? Разве она менее реальна только потому, что убивает с меньшей жесткостью, менее жутким ударом и более продолжительными страданиями?»

В самом деле, о тяготах и лишениях, выпавших на долю своих современников, Сароян знал не понаслышке. Вот из какой реальности возник рассказ Сарояна «Отважный юноша на летящей трапеции», который принес ему мгновенное признание. Если бы эти испытания выпали только на долю Сарояна, то, может, рассказ не вызвал бы такого резонанса. Однако именно потому, что в плачевном состоянии оказались миллионы, рассказ нашел широкий отклик у людей, увидевших в «отважном юноше» образ своего поколения. Проза времен Великой депрессии тридцатых годов XX века актуальна и сегодня, во времена экономических кризисов и дефолтов, сотрясающих целые страны и континенты. В этом смысле проза Сарояна может быть востребована в нынешние непростые времена, как в далеком 1934 году.

В Америке, в разгар Великой депрессии, экономической и духовной, Уильям Сароян нашел силы восхищаться чудом жизни и призывал к этому других. Испытавший на себе все тяготы безработицы, не признанный как писатель, не понятый друзьями и близкими в своем стремлении стать литератором, Сароян знал о драматических событиях того времени не понаслышке. И все же он упорно шел к своей цели, твердо убежденный в собственной исключительности, и не прислушивался к советам доброхотов. Сарояну всегда хватало мужества плыть против течения, идти наперекор толпе, обществу, правилам и законам, даже если это причиняло ему боль.

Уильям Стоунхилл Сароян, четвертый ребенок Арменака и Тагуи Сароянов из Битлиса, появился на свет 31 августа 1908 года в городе Фресно, штат Калифорния. Здесь после долгих странствий нашли пристанище тысячи армян, переселившихся из Западной Армении, спасаясь от геноцида в Османской империи.

² Hatcher H. The Second Lost Generation. The English Journal. Vol. 25, No. 8 (Oct., 1936). Pp. 621—631.

Сын поэта и проповедника Арменака Сарояна, умершего в 36 лет от перитонита, Уильям Сароян поднял оброненное отцом перо. Вопреки поучениям благоразумной родни, тяготам и лишениям безвестности и безденежья он выбрал трудное литературное поприще и блестяще проявил на нем свой талант. Десятками книг он доказал свою правоту всем, кто в него не верил. Однажды он заявил: «Я поступаю, как мне заблагорассудится, и хочу, чтобы меня не поняли правильно».

Откуда в нем эта внутренняя свобода, неприятие условностей и навязываемых установлений, нежелание вписываться в привычные рамки, что постоянно приводило к столкновениям в семье, в армии, в театре, в кино и бог весть где еще? Неужели этому способствовали пять лет, проведенных в детском доме? Или школа, из которой его выгнали? А может, на него подействовал вольный воздух страны, куда бежала его семья со «старой родины», спасаясь от турецкого ятагана, и где родился он, не испытавший османского ига и клейма «гяура»? Скорее всего, сильный природный талант пробился сам собой, как травинка сквозь асфальт.

Новую поросль детей, родившихся в Америке, дома воспитывали на национальном фольклоре. И хотя новая культура и школа формировали у этих детей иной менталитет, родной язык, Армянская церковь и семья не могли не повлиять на молодых американцев армянского происхождения.

Сароян не стал исключением. Он вырос на сказках и притчах, рассказанных бабушкой Люси. Сароян проявил профессиональный интерес к фольклору и просил друзей присылать ему армянские сказки и басни. В первую книгу Сарояна «Отважный юноша на летящей трапеции»³ (1934) вошел один из рассказов на фольклорном материале «Дочь пастуха». Вскоре он переработал эти сюжеты, и получилась книга «Притчи Сарояновы» (1941). Некоторые притчи начинаются так: «Когда бабушка Люси хочет наглядно показать, что...» Сароян посвятил ей множество своих произведений, и в одном из них («Ноне», 1933) описано, как бабушка рассказывала сказки собственного сочинения: «Она слышала эти сказки от своих бабушек и тетюшек, но не те, что она рассказывала нам, ибо в последние она вкладывала свой характер, свою философию и фразы, которые могла придумать она одна. Она была в своем роде артисткой. Истории были с моралью. Они учили молодежь смелости, благородству, честности и трудолюбию, бережливости, бодрости ума, но самое главное – скепсису. Ведь мир кишмя кишит злыднями, которые спят и видят, как бы отобрать у невинных людей честь, душевное спокойствие и деньги. Не годится слишком верить в человека; гораздо предпочтительнее верить в Бога».

Фольклор крепил узы родства армян Диаспоры со «старой родиной», хотя многие из них, как Сароян, родились в Новом Свете. Истоки Сарояна находились в Битлисе (Западная Армения). И туда он стремился попасть многие годы. Он посвящал стихи озеру Ван («озеро и символ нашего горя») и реке Евфрат. Там находилась древняя колыбель армянского народа – Ванское царство, возвышались Сасунские горы, а там обитали эксцентричные, чудачковатые, непредсказуемые персонажи героического эпоса армянского народа «Давид Сасунский» – предки рода Сароянов и самого Сарояна, которого в семье в глаза называли «чокнутым Вилли» («Tsoog Willie»). Любопытно, что Сароян в мемуарной книге «Случайные встречи» (1978) рассуждает о Давиде Сасунском и... о безумии.

³ Заглавие книги взято из популярной песни «The Daring Young Man on the Flying Trapeze», впервые исполненной в 1867 году. Автор слов – английский поэт и исполнитель Джордж Лейборн (George Leybourne), музыка Гастона Лайла (Gaston Lyle). Песня посвящена выдающемуся воздушному гимнасту Жюлю Леотарду (Jules Léotard). Сароян не раз ставил строки из популярных песен в заглавия своих книг. Например, «Short Drive, Sweet Chariot» («Прогулка в роскошной колеснице») – строка из спиритичуэла.

Эти же черты присущи многим персонажам Сарояна, имеющим склонность попадать в абсурдные ситуации и вести себя «не как все». Сумасбродные, поэтичные, бунтарские взгляды на мир, а также юмор и жизнелюбие, характерные для Сарояна и его персонажей, окрестили «сарояновскими» (Saroyanesque, Saroyanish, Saroyan-like). Анализируя чьи-то произведения, критики иногда отмечают, что они написаны в сарояновском стиле или духе, а бары и салуны населены типичными сарояновскими персонажами – потрепанными жизнью субъектами, бедными, часто голодными, романтиками с богатым воображением, юношами, завоевывающими мир, а также философствующими детьми и мудрыми барменами.

Вслед за фольклором богатым источником вдохновения для Сарояна являются библейские мотивы. Так, повествование о Давиде и Голиафе преобразовалось в рассказ «Кулачный бой за честь Армении». А заголовок – «Притчи Сарояновы» – перекликается с другими притчами – Соломоновыми. Сароян нередко называет свои произведения молитвами. В перечне ненапечатанных произведений Сарояна, хранящихся в Стэнфордском университете, есть четыре молитвы в стихах, в том числе одна – зубному врачу. В сборник «Отважный юноша на летящей трапеции» Сароян впервые включил рассказ «Молитва».

* * *

Перед молодежью из бедных иммигрантских кварталов Калифорнии во времена Депрессии стоял небогатый выбор: сезонная работа на виноградниках, продуктовых рынках, в конторах, магазинах и т.п. Сароян перепробовал много таких «профессий» и описывает все эти виды занятий плюс службу – сначала рассыльным, потом телеграфистом (рассказ «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8»). Положение Сарояна усугублялось еще и тем, что он не окончил школу. Но он наметил себе иной путь в жизни – карьеру писателя. И вот девятнадцатилетний Сароян оставляет родной Фресно и переезжает в Сан-Франциско, а затем в Нью-Йорк.

Первый опыт самостоятельной жизни окончился провалом. Ему не удалось найти работу, к тому же он тяжело заболел и на последние деньги с трудом добрался из промозглого Нью-Йорка домой в Калифорнию. Правда, в этот период (1928) уже появляются его первые журнальные публикации. От выхода «Отважного юноши на летящей трапеции» его отделяли шесть лет упорного труда и ворох отказов из редакций, которыми, говорят, можно было оклеить комнату. Так что путь к успеху, который пришел в 1934 году, оказался весьма тернист.

Выход его книги был более чем благосклонно встречен критикой. Едва ли и сам Сароян ожидал, что проснется знаменитым после первой же книги. Возвращенный на фольклоре, он и сам стал персонажем городского фольклора Сан-Франциско: рассказывали, будто ошалевший от радости Сароян раздавал свою книгу пассажирам паромов, курсировавших по бухте Сан-Франциско. Это событие было даже увековечено в одной из многих карикатур, которые в то время рисовали на Сарояна.

Рецензенты не скупились на похвалу. «Его талант не вызывает никаких сомнений. Он пишет с легкостью, непринужденностью и временами свежестью, какие редко встречаются в первой книге двадцатилетнего автора... Но к сожалению, ему не хватает скромности или, что еще важнее в литературе, сдержанности», – писал Луис Кроненбергер⁴.

⁴ Френсис Скотт Фицджеральд придерживался того же мнения; он писал, что Сарояну не хватает «смирения». См.: Френсис Скотт Фицджеральд. Портрет в документах. М.: Прогресс, 1984. С. 246.

Но «несносного ребенка» и «трудного подростка» американской литературы, «неистового Уильяма Сарояна», как окрестил его журнал «Тайм», напрасно было призывать к сдержанности. Воодушевленный успехом, он берется за составление второго сборника «Вдох, выдох» (1936). Эта книга отличалась небывалым объемом (438 страниц) и количеством рассказов (71), которых вполне хватило бы на два полноценных сборника.

14 сентября 1935 года Сароян написал рассказ «Тот, чье сердце в горах», который вошел в сборник «Трижды три» (1936). В 1938 году он переложил этот рассказ для сцены и отослал в журнал, печатавший одноактные пьесы. Его редактор Уильям Козленко предложил доработать адаптацию для полноценной постановки. Театральный дебют Сарояна и премьера пьесы «В горах мое сердце» состоялись в апреле 1939 года и принесли ему премию театральных критиков. Тогда Сароян заметил без ложной скромности, что у него с Шекспиром одинаковые инициалы – W.S.

После успешного старта от Сарояна требовали новую пьесу, и она не заставила себя ждать. Пятиактная драма «Годы вашей жизни», которую Сароян написал за неделю в мае 1939 года, была поставлена уже в октябре. Пьеса вызвала противоречивые отклики: сторонники традиционной добротной пьесы с продуманной сюжетной линией не воспринимали сарояновскую пьесу. В ней сравнительно мало событий и много диалогов. В этом смысле она напоминает чеховские пьесы, а по социальному составу персонажей – «На дне» М. Горького. Место действия тоже сравнимо с горьковской ночлежкой – портовый салун. Пьеса «Годы вашей жизни» в 1940 году впервые в истории американского театра получила сразу и Пулитцеровскую премию, и Премию нью-йоркских критиков.

Примечательно, что еще в 1934 году в рассказе «Семьдесят тысяч ассирийцев» Сароян заметил: «Я не жажду славы. Я здесь не для того, чтобы добиваться Пулитцеровской премии, или Нобелевской, или какой-либо награды вообще». После присуждения Пулитцеровской премии ему представилась возможность доказать твердость своих убеждений. И он официально возвратил чек на тысячу долларов Пулитцеровскому комитету. Свое решение Сароян объяснял тем, что «коммерция не должна покровительствовать искусству». Были и другие мотивы. Узнав о присуждении ему Пулитцеровской премии, Сароян сказал: «Я откажусь от нее. Они должны были дать мне ее за пьесу «В горах мое сердце»».

В декабре 1941 года, после нападения японцев на Перл-Харбор и вступления США в войну, Сарояна пригласили в Голливуд написать сценарий к фильму о войне. Так появился фильм «Человеческая комедия». А уже на основе сценария он написал свой первый роман. Получилось нечто совершенно не похожее на пропаганду военного времени – не слышно взрывов, выстрелов и нет батальных сцен, а действие происходит в вымышленном калифорнийском городке Итака за тысячи миль от фронтов Второй мировой. Нет никакой героики или романтизации войны, обещаний скорой победы или перемен к лучшему после нее. Напротив, Сароян утверждает, что человечество никогда не избавится от войн, что причины войны лежат глубже – в человеческой природе.

Сароян настаивал, чтобы режиссером фильма по его произведению был он сам, как и в случае постановок своих пьес. Руководство киностудии «Метро-Голдвин-Мейер» действительно предоставило Сарояну возможность снять короткометражный фильм «Хорошая работа» («The Good Job») по его рассказу «Бедные» («A Number of the Poor»). Эта единственная режиссерская работа Сарояна в кино примечательна еще и тем, что в ней впервые в американском кинематографе прозвучала армянская речь.

Однако студия не могла доверить съемки полнометражного фильма человеку без опыта работы в киноиндустрии. Тогда Сароян разорвал отношения с ней и потребовал обратно свой сценарий в обмен на полученный гонорар. Но получил отказ. Увидев фильм на экране, Сароян счел, что киностудия безнадежно испортила его фильм, и не захотел иметь с ним ничего общего. То обстоятельство, что фильм всем очень нравился, его только ужасало. Между тем в 1943 году фильм был выдвинут на премию Американской киноакадемии «Оскар» по четырем номинациям, но получил только одну золотую статуэтку за лучший сюжет, и досталась она Сарояну, хотя он всячески отрекся от этого фильма. «Оскар» Сарояна хранится в краеведческом музее города Фресно.

* * *

В десятилетие, которое последовало после выхода сборника «Отважный юноша...», имя Сарояна гремело по всей Америке наряду с именами Стейнбека, Фолкнера, Хемингуэя. В американской литературе имя Сарояна стало нарицательным. Критики и собраты по перу тоже заметили вошедшее в поговорку жизнелюбие Сарояна. Не оставили его без внимания и американские юмористы. Так, известный комик Гручо Маркс обыгрывает узнаваемый стереотип Сарояна-человеколюбца: «...они прекрасные ребята с черными кудрями, двубортными пиджаками и с такой любовью к ближнему, что самого Сарояна пересарояняют».

Сарояна много пародировали. Даже написали пародийную пьесу «Любимчик»⁵, в которой он под видом мальчика катается по сцене на трехколесном велосипеде. Пародировали и рассказы Сарояна. Пародист Уолкот Гибз подметил его манеру красоваться перед публикой: «Эта пьеса – шедевр, я написал ее за полтора часа. Она могла быть написана только в Америке юношей-армянином – художником, любовником и мечтателем. Ее мог сочинить только Сароян»⁶. На него писали куплеты: «Какое неистребимое обаяние в Сарояне... Он – чистое золото... И требует гонорары, как у Бернарда Шоу... Он гигантский, как секвойя, Саро́ян!» В Сан-Франциско кому-то пришло в голову назвать в честь Сарояна коктейль, салат и даже сэндвич, однако их рецепты история не сохранила.

А вот юморист и карикатурист Джеймс Тарбер после неоднократных попыток отказался пародировать Сарояна, так как сильно его недолюбливал, а для пародии все же нужна хоть какая-то симпатия. Любопытно, что Дж. Тарбер откликнулся на выход в свет книги Сарояна «Отважный юноша на летящей трапеции» и, перефразировав это заглавие, выпустил свой сборник «Мужчина средних лет на летящей трапеции» (1935). Так Тарбер признал появление нового автора, но не его кредо и стиль.

Появление Сарояна на литературной арене Америки вызвало восторги, недоумение, негодование, но никого не оставило равнодушным. Где истоки вдохновения Сарояна? Кто его учителя?

В читальнях родного Фресно он познакомился с классической русской литературой. В рассказе «Катитесь вы со своей войной!» из сборника «Отважный юноша...» главный герой признается: «Я – большой почитатель Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова, Андреева и Горького».

⁵ Beatrice Kaufman, Charles Martin. The White-Haired Boy (1940).

⁶ A Subtreasury of American Humor. Edited by E. B. White and Katherine S. White. New York, 1941. P. 279—283.

Как-то холодным октябрьским днем 1978 года приехавшему в Ленинград Сарояну предложили одеться потеплее после жаркой Калифорнии, на что тот ответил: «Зачем мне пальто? По этим улицам ходил Акакий Акакиевич Башмачкин. Я хочу понять его. У меня мерзнет спина, и я чувствую Акакия Акакиевича»⁷.

Сароян признавал влияние и многих других авторов на свое творчество. До сих пор не утихают споры о том, на кого «похож» Сароян. Одни критики, не без причины, ищут в его рассказах и романах влияние Шервуда Андерсона, из произведений которого выросла вся американская литература начала XX века. Другие проводят параллели с Хемингуэем, хотя это сравнение вызывало у Сарояна протест. Об этом он пишет в книге «Прогулка в роскошной колеснице». Впрочем, это не мешало Сарояну советовать начинающему писателю Тошио Мори читать Хемингуэя. Сам же Сароян заявляет, что испытал на себе влияние Бернарда Шоу. Все эти утверждения, как и то, что Сароян многим в своем творчестве обязан Шекспиру, Роберту Бернсу, Уолту Уитмену и Томасу Вулфу, справедливы.

Несмотря на все влияния, которые Уильям Сароян испытал, его личность и творчество оказались уникальными. И поэтому, когда критики пытались определить место творчества Сарояна в контексте литературы и его принадлежность к какой-либо школе, оказалось, что на самом деле сравнить Сарояна не с кем. Его произведения были условно названы «экспериментальными» фантазиями, с элементами символизма и сюрреализма. О своей «обособленности» не раз писал и сам Сароян. Так, например, в сборнике «Отважный юноша...», в программном рассказе «Я на этой земле», он заметил: «Мне есть что сказать, и я не желаю говорить, как Бальзак... Умри Эдгар Райс Берроуз сегодня утром, я мог бы продолжать начатое им дело и писать про Тарзана с обезьянами. Или же, если бы мне захотелось, я мог бы писать, как Дос Пассос или Уильям Фолкнер или Джеймс Джойс. Но я... хочу сохранить свою самобытность».

Так появился новый участник литературного процесса и вступил во взаимодействие и соревнование с другими писателями. Теннесси Уильямс, например, относился к Сарояну как к автору, с которым его [Уильямса] будут сравнивать. Это, впрочем, не мешало ему по достоинству оценивать конкурента – он мечтал сочинить что-нибудь похожее на пьесу Сарояна «Джим Дэнди». Томас Вулф ценил «энергию и свободу» его произведений. Генри Миллер после постановки сарояновской пьесы «Годы вашей жизни» тоже решил попробовать свои силы в этом жанре. Драматург Клиффорд Одетс однажды, говоря о книге «Меня зовут Арам», воскликнул: «Ах, как бы мне хотелось писать такие рассказы!» Дух здоровой состязательности не был чужд и Сарояну. Так, посмотрев одну из пьес Лириан Хелман, он признался, что и ему хотелось бы создать нечто в этом роде.

«Старая родина», «память родителей» и «личный опыт» человека, родившегося в Америке в иммигрантской семье, являются важными составляющими творчества самого Сарояна. Они актуальны для всякого, кто нашел убежище в Америке. Сарояна привлекает то «общечеловеческое», что объединяет судьбы этих скитальцев. Так, он поддерживал американца японского происхождения Тошио Мори. Его интерес к американским японцам, возможно, вызван тем, что он обнаружил братьев по перу, черпавших, как и он, вдохновение в своих этнических корнях. Сароян является одним из основателей нового «этнического» направления в американской литературе, и многие писатели-эмигранты ассоциируются с

⁷ Сароян вблизи. В кн.: Мкртчян Л. Башмачник Ростом, Уильям Сароян и другие. М.: Советский писатель, 1985. С. 160.

ним. Например, писателя Чин Янг Ли называют «китайским Сарояном», а Джона Фанте – «итало-американским Сарояном».

Сароян утверждал, что каждое поколение будет открывать для себя его произведения заново. Действительно, когда в 1950—1960-х годах в литературу пришли битники (Джек Керуак, Чарльз Буковски), их вдохновила внутренняя свобода и раскованность Сарояна, которые не всегда одобряли старшие современники, призывавшие его к сдержанности.

Сароян был одним из любимых писателей молодого военного летчика Джозефа Хеллера. Хеллер знал программные рассказы Сарояна, в том числе «Семьдесят тысяч ассирийцев», а также пьесы. И вот в романе «Уловка-22» (1961) главный герой, носящий явно армянскую фамилию Йоссарян, выдает себя за «ассирийца». У многих это вызывало недоумение, и лишь самые проницательные догадывались, что тем самым Дж. Хеллер отдавал дань уважения Сарояну, которого считал одним из своих учителей. Он понимал символику «ассирийцев» у Сарояна. Это – аллюзия на созданный Сарояном образ «ассирийца», помогающий армянам взглянуть на свою судьбу со стороны, на примере истории ассирийцев, еще больше пострадавших от геноцида. В этом рассказе Сароян без устали повторяет: «Я – армянин». Впрочем, и у других авторов можно встретить такую фразу: «знаменитый ассириец Уильям Сароян» («famous Assyrian William Saroyan»).

Любопытно, что неармянское происхождение Йоссаряна возмутило Сарояна; вот что он пишет в одном эссе: «Хеллер, я даже имени его не помню. «Уловка-22». Я ее и читать-то не стал, хотя там есть некто по имени Йоссарян, но он и не армянин вовсе, не говоря уж обо мне. Где это видано, чтобы у неармянина была фамилия Йоссарян?»⁸ Действительно ли Сароян не раскусил ребус Хеллера или, напротив, решил ему подыграть, неизвестно. Но розыгрыши на этом не закончились. В 1970 году, после гневного эссе Сарояна, начались съемки фильма «Уловка-22». На одном из рекламных плакатов, выпущенных к премьере, на фоне волосатой груди красуются жетоны с личным номером, именем и фамилией военнослужащего армии США: ARAM YOSSARIAN. Но и в романе, и в фильме Йоссаряна зовут Джон (!) Очевидно, кто-то решил прозрачно намекнуть на армянское происхождение Йоссаряна. А имя Арам к тому же всем напоминает известный сборник Сарояна «Меня зовут Арам».

В романе «Лавочка закрывается» (1994), который является продолжением «Уловки-22», Дж. Хеллер уже окончательно раскрывает «тайну» Йоссаряна для тех, кто все еще не догадался, что кроется под маской «ассирийца». Дж. Хеллер, испытавший в юности влияние Сарояна, о чем он упоминал в своих мемуарах⁹, устраивает воображаемую встречу Сарояна с Йоссаряном:

«— А это Уильям Сароян. Уверен, вы никогда о нем не слышали.

— Еще как слышал, – обиделся Йоссарян. – Я смотрел пьесу «Годы вашей жизни», читал рассказы «Отважный юноша на летящей трапедии» и «Сорок тысяч ассирийцев»¹⁰. Ассирийцев-то я хорошо помню, – говорит Йоссарян. – Я когда-то пытался подражать вам, но у меня ничего не получилось», – признается Йоссарян-Хеллер. На что Сароян отвечает: «Это потому, что у вас не было моего воображения»¹¹.

⁸ William Saroyan. I Don't Get It. Playboy. January. 1965.

⁹ Heller J. Now And Then. 1998. P. 186—188.

¹⁰ У Хеллера, очевидно, ошибка: ассирийцев, конечно, должно быть семьдесят тысяч.

¹¹ Heller J. Closing Time, 1994.

Любопытны в этом отношении и произведения Рэя Брэдбери. Работая в одном архиве, я нашел переписку Сарояна с Мартой Фоли. И в одном из писем М. Фоли сообщает Сарояну о замечательном двадцатидевятилетнем писателе по имени Рэй Брэдбери, напоминающем ей Сарояна, которого она повстречала приблизительно в том же возрасте. М. Фоли советует Сарояну познакомиться с Брэдбери. Она пишет, что остерегается говорить людям «вы понравитесь друг другу», потому что не любит предвосхищать события. Вместо этого она предлагает: «Будем считать, что вы возненавидите друг друга всеми фибрами своей души».

Сароян откликается на предложение М. Фоли и 30 июля 1951 года пишет письмо Р. Брэдбери. Он предлагает Брэдбери позвонить ему в офис, встретиться за обедом и поговорить о коротких рассказах, о Марте Фоли и литературе вообще.

Что ответил Брэдбери Сарояну, позвонил ли он ему, встретились ли они, неизвестно. В архивной папке с письмом Сарояна больше ничего не оказалось. Об этом можно было бы забыть, если бы не одно обстоятельство. Еще до того, как мне попались эти письма, у меня были основания предполагать, что Брэдбери был знаком если не с Сарояном, то по крайней мере с его произведениями. К этой мысли я пришел при сравнении творчества этих авторов, которое позволяет провести ряд параллелей между ними. Наряду с этим есть примеры, свидетельствующие о влиянии Сарояна на Брэдбери. Все это, однако, не мешает Брэдбери иронизировать по поводу жизнелюбия и человеколюбия Сарояна, которые стали хрестоматийными в американской культуре и литературе. В рассказе «Бетономешалка» (1952) Брэдбери вкладывает в уста одного из героев следующие слова: «Это век заурядного человека, Билл. Мы гордимся тем, что мы маленькие люди. Билли, перед тобой планета, кишмящая Сароянами. Да, да. Мы – огромная, необъятная, раздобревшая семейка Сароянов – все всех любят».

Так были ли они лично знакомы? Единственный, кто мог бы прояснить эту ситуацию, сам Рэй Брэдбери, проживавший в Лос-Анджелесе. Я написал ему письмо, в котором полностью приводился текст сарояновской записки, и попросил рассказать, что было дальше. Брэдбери ответил на удивление быстро:

«7 июня 2004 года
Уважаемый Арам Оганян!

Благодарю вас за письмо с материалами об Уильяме Сарояне. Сароян написал мне, и я связался с ним; так совпало, что он занимал офис в доме номер 9441 по Уилширскому бульвару, в котором и я впоследствии арендовал рабочий кабинет. Я связался с ним, и мы очень хорошо провели время; я принес с собой все, какие у меня были, книги Сарояна и попросил его подписать их, потому что читал его произведения по меньшей мере лет двадцать. После этого мы обедали вместе еще несколько раз, но крепкой дружбы так и не получилось, а только взаимное восхищение. Так или иначе, это были очень приятные встречи, о которых я вспоминаю с большим удовольствием. Спасибо, что спросили меня об этом.

*С наилучшими пожеланиями.
[подпись] Рэй Брэдбери».*

Однако творческое взаимодействие Сарояна и Брэдбери продолжается. В 2009 году Брэдбери издал сборник рассказов «Париж всегда с нами». В одном из рассказов («Литературная встреча») описывается мужчина, попадающий под влияние прочитанных книг до такой степени, что меняются его поведение, настроение и речь. Его увлечение Сарояном совпало с ухаживанием за будущей женой, и его духовный настрой под воздействием задорно-

бесшабашного сарояновского образа так вскружил ей голову, что она влюбилась и вышла за него замуж. Но вот в какой-то кризисный для семейных отношений момент жена предписывает мужу снова обратиться к Сарояну и читать его книги ежедневно всю оставшуюся жизнь как залог нерушимости брачных уз.

Независимо от Марты Фоли сходство Сарояна и Брэдбери подметил и американский фантаст Лайон Спрэг де Камп в своей рецензии на «Марсианские хроники» в журнале научной фантастики¹²: «Брэдбери – способный молодой писатель, который только выиграет, если избавится от влияния Хемингуэя и Сарояна либо их подражателей. У Хемингуэя он перенял привычку нанизывать множество коротких простых предложений, а также беспристрастный или безразличный взгляд на мир. Все персонажи характеризуются только своими внешними проявлениями. Этого, может, и достаточно для героев Хемингуэя с их неандертальским складом ума, который не представляет никакого интереса для исследователя, но малопригодно для насыщенной идеями литературы.

От Сарояна (или, может, Стейнбека?) ему досталась слащавая сентиментальность. Он пишет «душевные» рассказы вроде тех, что зовутся «человечными», которые населены «маленькими людьми» по имени Мама, Папа, Эльма и Дедушка. Они родом из малых американских городишек, и точно такие же тиражируют на Марсе. Они принадлежат к известной нам всем разновидности, называемой «милые, но скучные».

Это стандартный набор упреков, предъявлявшихся Хемингуэю за «телеграфный стиль» и Сарояну за «сентиментальность», с которыми можно спорить. Важно, что влияние Сарояна было одновременно и независимо друг от друга подмечено разными авторами еще в самом начале творческого пути Брэдбери. «Душевность» и «человечность» рассказов, провинциальность персонажей в данном случае преподносятся как недостаток, зато взыскательный критик уловил общую для обоих писателей тональность¹³.

* * *

Журнал «Тайм», часто писавший саркастические рецензии на произведения Сарояна, вынужден был признать, что спустя тридцать лет пьеса Сарояна «Годы вашей жизни» обрела новое звучание, так как наступили другие времена.

«Всякий раз, когда пьеса восстанавливается, она в определенной степени переписывается ее новым зрителем. То, что когда-то было ярким, теперь потускнело. То, что однажды воспринималось как искреннее чувство, сейчас пренебрежительно считается слащавой сентиментальностью. Каждая последующая эпоха дает право на существование только ей присущим взгляду и глубине. Все это произошло с пьесой Уильяма Сарояна «Годы вашей жизни», впервые поставленной 30 лет назад... В условиях 1969 года пьеса во многом удивительно преобразилась...

В ретроспективе «Годы вашей жизни» раскрываются перед нами как некое пророчество, а также как пьеса, предвосхитившая меняющиеся драматические тенденции и скептическое сомнение в американских ценностях.

¹² Astounding Science Fiction. February, 1951. P. 151.

¹³ Об этом же пишет Марк Рич в кн.: С.М. Kornbluth: the life and works of a science fiction visionary. McFarland, 2009. С. 162: «Например, Л. Спрэг де Камп заметил влияние Хемингуэя и Сарояна на произведения Брэдбери и счел его нежелательным».

Сароян является американским родоначальником спонтанной пьесы. «Годы вашей жизни» была не выстроена, а выплеснута на стены питейного заведения в порту Сан-Франциско. Когда Сароян говорит «в годы вашей жизни – живите», начинаешь осознавать, что тогда, тридцать лет назад, впервые был брошен клич «поступай по-своему».

Персонажи пьесы в глазах сегодняшнего зрителя представляются коммуной изгоев, а Сароян предстает в качестве первого ярко выраженного хиппи. Когда полицейские врываются в бар и в кровь избивают негра-джазиста, эта сцена производит эффект дубинки, которого совершенно не было в 1939 году, когда подобные инциденты казались изолированными от знакомого зрителю социального контекста¹⁴. В те дни Сароян слыл «безумцем» театра. Сегодня же нам представляется, что он обладал здоровой интуицией провидца¹⁵.

Русскоязычному читателю, знакомому с классикой Сарояна («Меня зовут Арам», «Приключения Весли Джексона», «Человеческая комедия», пьесами «Сердце мое в горах», «Годы вашей жизни», «Эй, кто-нибудь!» и несколькими десятками рассказов), еще предстоит открыть для себя множество его произведений, которые не переводились по идеологическим, цензурным и прочим соображениям. Множество рассказов оказались запертыми в уже несуществующих журналах и никогда не переиздавались, и среди них есть настоящие шедевры. А сколько еще произведений Сарояна не были напечатаны при его жизни и дожидаются своего часа в архивах! Все же неспроста Сароян говорил, что каждое поколение будет открывать его заново.

Арам Оганян
2012

¹⁴ В годы движения за гражданские права (1960-е гг.) актуальность подобных эпизодов резко обострилась по сравнению с 1939 годом. – Примеч. авт.

¹⁵ The First Hippie. Time, Friday, Nov. 14, 1969.

Отважный юноша на летящей трапеции

Во сне

Бодрствование в горизонтали на вселенских просторах, смех и радость, сатира, конец всему – Риму и даже Вавилону, скрежет зубовой, воспоминания, вулкана жар, парижские улицы, иерихонские равнины, скольжение абстрактной рептилии, акварели в галерее, море и пучеглазая рыба, симфония, столик в углу на Эйфелевой башне, джаз в опере, будильник и чечетка рока, общение с древом, река Нил, раскаты Достоевского и затмение солнца.

Наша земля, лик отжившего, невесомая форма, стенания на снегу, белая музыка, увеличенный цветок – вдвое больше вселенной, черные тучи, пристальный взгляд пантеры из клетки, бессмертный космос, мистер Элиот печет хлеб, закатав рукава, Флобер и Мопассан, ритмы раннего утра без слов, Финляндия, отточенная математика, склизкая, как зеленый лук на зубах, Иерусалим, тропа парадоксов.

Глубинная песнь человека, коварный шепоток смутно знакомого невидимки, ураган на кукурузном поле, игра в шахматы, свержение королевы, короля, Карл Франц, черный «Титаник», слезы Чаплина, Сталин, Гитлер, сонмы евреев, завтра понедельник, танцам на улицах конец!

О, стремительный миг жизни, он пролетел, вот уже видна земля!

Наяву

Он (живущий на свете) оделся и побрился, осклабясь на себя в зеркале. Весьма непрезентабельно, сказал он; где мой галстук? (У него и был-то всего один.) Кофе и свинцовое небо, туман с Тихого океана, гудение трамвая, люди, спешащие в город, время снова пошло, день, проза и поэзия. Он сбежал по лестнице на улицу и зашагал; внезапно ему в голову пришла мысль: только во сне мы сознаем, что живем. Только в этой живой смерти мы встречаемся с собой и с дальними краями, с Богом и святыми, с именами наших отцов, со смыслом мгновений минувшего; именно во сне века сжимаются в миг, гигантское съеживается до крохотного осязаемого атома вечности.

Его день начался тревожно, его каблуки издавали определенный стук, он пробежал глазами по поверхностным истинам улиц и зданий, тривиальным истинам бытия. В голове сама собой зазвучала песня: «Отважный малый на трапедии летит по воздуху легко», а потом он рассмеялся изо всех сил. Утро выдалось действительно прекрасное: серое, холодное и безрадостное, утро, требующее внутренней твердости; ах, Эдгар Гест, сказал он, как мне не хватает твоей музыки.

В канаве он увидел монету – один пенни, 1923 года выпуска. Положив на ладонь, он принялся пристально ее разглядывать, вспоминая тот год и Линкольна, профиль которого отчеканен на монете. На что годен один пенни? Куплю себе авто, подумал он, разоденусь, как франт, буду наведываться к гостиничным шлюшкам, пить и кутить, потом остепенюсь. Или брошу монетку в автомат и взвешусь.

Хорошо быть бедняком, а коммунисты... но до чего ужасно голодать. Какой же у них разыгрывается аппетит! До чего же они прожорливы! Пустые желудки. Он вспомнил, как изголодался. Каждая трапеза состояла из хлеба, кофе и сигарет, а теперь хлеба не стало. Кофе без хлеба, положив руку на сердце, никак не сойдет за ужин, даже травы в парке не оказалось, чтобы сварить, как шпинат.

Если уж начистоту, то вообще-то он оголодал до полусмерти, а ему еще столько книг нужно прочитать до своей кончины. Он вспомнил молодого итальянца в бруклинском госпитале, щуплого болезненного клерка по имени Моллика, который в отчаянии твердил: «Вот бы хоть раз увидеть Калифорнию перед смертью». С грустью подумалось – я должен хотя бы еще раз перечитать «Гамлета», а может, «Гекельберри Финна».

Вот когда наступило окончательное пробуждение – при мысли о смерти. Бодрствование есть состояние, которое сродни непрерывному шоку. Молодой парень может запросто сгинуть; он еле держался на ногах от голода. Вода и проза, конечно, хорошо, они занимают много неорганического пространства, но в пищу не годятся. Если бы нашлась какая-нибудь работа за деньги, какая-нибудь банальная работенка во славу коммерции. Если бы ему дали сидеть за письменным столом днями напролет, складывать торговые числа, вычитывать, умножать и делить, тогда бы, пожалуй, он не умер. А накупил бы себе всевозможной снеди, доселе невиданных деликатесов из Норвегии, Италии и Франции; говядины, баранины, рыбы, сыру, винограду, инжиру, груш, яблок, дынь, которым он будет поклоняться, когда утолит свой голод. Он положил бы кисточку красного винограда на блюдо рядом с двумя черными смоквами, с большой золотистой грушей и с зеленым яблоком. Он бы часами вкушал аромат разрезанной дыни. Он купил бы большие караваи черного французского хлеба, разные овощи, мясо – жизнь.

С холма он увидел величественный город на востоке, высоченные башни, густо населенные людьми, подобными ему. И вдруг он оказался за бортом этой жизни. Он почти уверил себя в том, что его уже никогда не пустят обратно. Он был почти наверняка уверен, что ошибся планетой, а может, эпохой. И вот ему, молодому человеку двадцати двух лет от роду,

суждено навсегда быть выброшенным из этой жизни. Эта мысль не вызвала печали. Он сказал себе: скоро мне придется написать «Прощение о разрешении на жизнь». Он свыкся с мыслью о смерти без жалости к себе или человеку вообще, будучи уверенным, что сможет поспать хотя бы одну ночь. Арендная плата за день вперед была внесена. Оставалось еще одно завтра, после которого он мог бы отправляться вслед за другими бездомными. Можно было бы даже вступить в Армию спасения – петь Богу и Иисусу (который недолюбливает мою душу), спастись, есть, спать. Но он знал, что туда не пойдет. Его жизнь принадлежала только ему. Он не хотел нарушать этого условия. Любой другой выбор был бы предпочтительней.

По воздуху на летящей трапеции – гудело в голове. Как занятно, как потрясающе смешно. На трапеции – к Богу или к ничему, на летящей трапеции в вечность. Он молился с одной целью – о даровании ему сил совершить свой благородный полет.

«У меня есть один цент, – сказал он. – Американская монета. Вечером я начищу ее до солнечного блеска и буду изучать, что на ней написано».

Он шагал по городу среди живых. Можно было пойти в пару мест. Он увидел свое отражение в витринах магазинов и был огорчен своим видом: он выглядел вовсе не таким сильным, каким представлял себя. Каждая часть его тела дышала немощью – шея, плечи, руки, туловище, колени. Так не годится, сказал он и, сделав над собой усилие, собрал воедино все свои разболтанные члены и стал натужно и неестественно осанистым и цельным.

Проявляя железную выдержку, он проходил мимо многочисленных ресторанов, не позволяя себе даже взглянуть в их сторону, и, наконец, достиг здания, в которое и вошел. Поднялся на лифте на седьмой этаж, прошагал по вестибюлю, открыл дверь, зашел в контору агентства по найму. Здесь уже томилось десятка два молодых мужчин. Он притулился в каком-то углу, дожидаясь своей очереди на собеседование. Наконец его удостоили сей великой чести, и некая легкомысленная худощавая мадемуазель лет пятидесяти провела с ним собеседование.

– Так, скажите, что вы умеете делать? – поинтересовалась она.

Это его смутило.

– Я умею писать, – ответил он смиренно.

– Вы хотите сказать, у вас хороший почерк? Да? – уточнила перезрелая дева.

– В общем, да, – сказал он. – Но я хотел сказать, что я умею писать.

– Что писать? – спросила мадемуазель с нотками раздражения в голосе.

– Прозу, – скромно ответил он.

Последовала пауза. Наконец она полюбопытствовала:

– На машинке печатать умеете?

– Разумеется, – ответил молодой человек.

– Хорошо, – изрекла мадемуазель, – у нас есть ваш адрес; мы свяжемся с вами. Сегодня утром ничего подходящего для вас нет. Совсем ничего.

В другом агентстве все повторилось, но с той разницей, что здесь собеседование проводил напыщенный молодой субъект, который сильно смахивал на борова. Из агентств он направился в большие универмаги: последовало много высокопарности, а с его стороны – унижения, и, наконец, приговор был таков – работы нет. Это его не разочаровало, и, как ни странно, он даже не почувствовал своей личной причастности к этому фарсу. Он, живой молодой человек, нуждается в деньгах для поддержания своей молодой жизни. Как их раздобудешь без работы? А работы как раз-то и не было. Задача представлялась чистой абстракцией, которую он хотел решить раз и навсегда. Теперь он чувствовал облегчение оттого, что с этим делом покончено.

Он ясно представил себе ход своей жизни. За исключением некоторых моментов, жил он небрежно, но сейчас, в последнюю минуту, твердо решил, что в его жизни не место расхлябанности.

Путь в Ассоциацию христианской молодежи, где он воспользовался бумагой и чернилами и приступил к сочинению своего «Прощения», лежал мимо бесчисленных магазинов и ресторанов. Он проработал над сим документом целый час. Потом он стал терять сознание от спертого воздуха и голода. Ему казалось, что он стремительно уплывает от самого себя, и он поспешно покинул здание. В городском парке, что напротив публичной библиотеки, он выпил чуть не литр воды, и силы вернулись к нему. Посреди бульвара, выложенного кирпичом, стоял какой-то старикан, окруженный чайками, голубями и малиновками. Из большого бумажного пакета он доставал пригоршнями хлебные крошки и картинно разбрасывал перед птицами.

У него возникло смутное желание попросить горсть крошек у старика, но он не позволил мыслям даже приблизиться к сознанию; он зашел в публичную библиотеку и целый час читал Пруста, затем, опять почувствовав, что «плывет», выскочил наружу. Он снова попил воды из фонтанчика в парке и пустился в долгий путь домой.

«Я пойду, посплю», – сказал он; а больше нечем заняться. Он теперь понимал, что слишком истощен и ослаб, чтобы заниматься самообманом, будто с ним все в порядке, но его ум еще сохранял гибкость и живость. Словно обособленный орган, мозг настойчиво отпускал неуместные шуточки по поводу его физических страданий. Он добрал до дому после полудня и не медля сварил себе кофе на маленькой газовой горелке. В банке не осталось молока, и полфунта сахара, купленного на прошлой неделе, тоже иссякли. Он пил из чашки обжигающий черный напиток, сидя на кровати и улыбаясь.

Из Ассоциации христианской молодежи он умыкнул дюжину листов писчей бумаги, на которой надеялся дописать свой документ, но теперь сама мысль о писательстве претила ему. Сказать было нечего. Он принялся отполировывать найденную утром монету, и это нелепое действие здорово его позабавило. Никакую другую американскую монету нельзя начистить до такого блеска, кроме пенни. Сколько пенни ему понадобится, чтобы выжить? Может, найдется еще что продать? Он обвел взглядом пустую комнату. Нет. Часы проданы. Книги тоже. Все его великолепные книги. Девять штук за восемьдесят пять центов. Ему было противно и стыдно за то, что он так расстался с книгами. Свой лучший костюм он продал за два доллара, но это нестрашно. Одежда его мало волновала. А вот книги – совсем другое дело! Он гневался на отсутствие уважения к писательскому труду.

Он положил сияющую монету на стол, разглядывая ее с вожделением скряги. «Как мило она улыбается», – сказал он. Не читая, он посмотрел на слова: *E Pluribus Unum One Cent United States Of America*. На оборотной стороне он увидел Линкольна и слова: *In God We Trust Liberty 1923*.

Его обволокла сонливость, и он почувствовал, как в кровь просачиваются отвратительное недомогание, тошнота и разложение. Изумленный, стоял он у кровати и думал: делать нечего, только спать. Он уже чувствовал, как уплывает широкими взмахами сквозь разжиженную землю, уплывает прочь, к истокам. Он упал ничком на кровать и сказал себе, что надо хотя бы отдать монету какому-нибудь ребенку. Ребенок способен закупить кучу всякой всячины на один пенни.

Затем стремглав, с безупречной грацией юноши на трапеции, он покинул свое тело. На какое-то нескончаемое мгновение он пребывал во всех состояниях сразу: птицей, рыбой, грызуном, рептилией и человеком. Перед ним, мрачный и бескрайний, колыхался океан печатного слова. Город горел. Безобразничала погоняемая толпа. Земля заложила крутой вираж, и, зная это, он сделал так: обратил изможденное лицо к пустому небу – лишился грез, жизни и обрел совершенство.

Семьдесят тысяч ассирийцев

Я не стригся целых сорок дней и сорок ночей и стал похож на всех оставшихся без работы скрипачей. Вы знаете, как это выглядит: гений, дошедший до ручки и готовый вступить в коммунистическую партию. Мы – малоазиатские варвары – народ волосатый. Если мы говорим, что нам нужна стрижка, значит, в самом деле *нужна*. Я так зарос, что единственная шляпа стала мне мала. (Я пишу серьезный рассказ, быть может, один из самых серьезных в своей жизни. Поэтому я веду себя так легкомысленно. Знатоки Шервуда Андерсона скоро поймут, куда я клоню. Они узнают, что это смех сквозь слезы.) Я – молодой человек, которому нужно постричься. И вот я иду по Третьей-стрит (Сан-Франциско) в училище парикмахеров, чтобы меня постригли за пятнадцать центов.

Третья-стрит, ниже Говарда, это целый район.

Представьте себе трущобный квартал Баури в Нью-Йорке, Мейн-стрит в Лос-Анджелесе, стариков и мальчишек, слоняющихся без работы, покурывающих «Булл дарэм», болтающих о правительстве, в ожидании бог весть чего или просто кого-то. Было августовское утро, понедельник, в парикмахерскую пришло множество бродяг малость освежиться. К японцу, который обслуживал бесплатное кресло, выстроилась очередь из одиннадцати человек. Все остальные кресла были заняты. Я присел и стал ждать. На стороне, как сказал бы Хемингуэй («И восходит солнце», «Прощай, оружие», «Смерть после полудня», «Победитель не получает ничего»), стрижка обошлась бы в два четвертака. У меня же было всего двадцать центов и полпачки табаку «Булл дарэм». Я скатал сигаретку, протянул пачку своему современнику, который, как мне показалось, нуждался в никотине, и затянулся сухим дымком, думая об Америке, ее политике, экономике, духовности. Мой современник оказался пареньком лет шестнадцати. С виду – из Айовы. Он мог бы выглядеть великолепно, как сто-процентный американец, но очень сильно осунулся. Недосыпает, несколько дней не менял одежду, немного не в себе и т.д. Мне очень хотелось узнать его имя. Писатель всегда стремится схватить реальные лица и фигуры.

– Я только что из Салинаса, – сказал Айова. – На салатных полях работы нет. Еду теперь на север, в Портленд, постараюсь устроиться на судно.

Я хотел было поведать ему о своих делах – отвергли рассказ в «Скрибнере», отвергли эссе в «Йель ревью», не хватает на приличные сигареты, стоптанная обувь, старые рубашки – но я опасался, что мои невзгоды покажутся преувеличенными. Писательские тяготы всегда навевают скуку, кажутся немного надуманными. У человека может возникнуть вопрос: «Ну, а кто вообще тебя просит писать?» Так что нужно притворяться, что ты не писатель.

Я сказал:

– Удачи. На север?

Айова кивнул:

– Во всяком случае, попытаюсь. Терять нечего.

Славный малый. Надеюсь, не умер, не замерз – в эти дни стоял собачий холод (декабрь 1933-го), надеюсь, не скопытился – он заслуживал остаться в живых. Айова, я надеюсь, ты нашел работу в Портленде, зарабатываешь деньги. Я надеюсь, ты снимаешь чистую комнату с теплой постелью, спишь по ночам, регулярно ешь, ходишь счастливый, как подобает человеку. Айова, я желаю тебе всего хорошего. Я несколько раз молился за тебя. (И тем не менее, думаю, его уже нет в живых. Я увидел это по его лицу, было в нем нечто неизменное, злобное, звероподобное. Тогда же киношки в Америке непрерывно крутили один и тот же мультик с песенкой «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк!», а это напоминало то, как люди с достатком насмехались над смертью, которая коварно заползала в мальчишек, вроде юного Айовы, притворяясь, что ее нет. Они хохотали, сидя в теплых кинотеатрах. Я молюсь

за Айову и считаю себя трусливым. К настоящему моменту он наверняка умер, а я сижу в своей комнатухе, разглагольствую про него и ничего больше.)

Я присматриваюсь к японцу, который учится на парикмахера. Он бреет старого бродягу с жуткой рожей – такая может появиться у любого после долгих лет уворачивания от жизни, от неприкаянности, от непричастности к чему бы то ни было, от необладания ничем. Японец всячески старался отклониться от кресла, чтобы не вдыхать запахи, исходящие от клиента. Заурядная подробность повествования, которой не место в произведении искусства, но я все равно ее записываю. Молодой автор всегда опасается, что какое-нибудь важное обстоятельство ускользнет от него. Он всегда стремится записать все увиденное. Мне захотелось узнать, как зовут японца. Я всерьез интересуюсь именами. Я обнаружил, что имена неизвестных людей самые неподдельные. Возьмем хотя бы громкое имя вроде Эндрю Мелон.

Я пристально наблюдал за японцем. По тому, как он воротит нос от рта этого старикана, я хотел понять, о чем он думает, что переживает. Много лет назад, когда мне было семнадцать, я работал на подрезке лозы на винограднике своего дяди, к северу от Сангера, в долине Сан-Хоакин, и со мной работали несколько японцев – Йошио Энмото, Хидео Сузуки, Кацуми Судзимото и еще пара человек. Они обучили меня простым японским фразам: «привет», «как дела?», «хорошая погода, не правда ли?», «до свидания» и тому подобное. Я сказал ученику парикмахера по-японски:

– Как дела?

Он ответил по-японски:

– Спасибо, отлично.

Потом на безупречном английском:

– Вы знаете японский? Вы жили в Японии?

Я ответил:

– К сожалению, нет. Я знаю всего несколько слов. Когда-то работал с Йошио Энмото, Хидео Сузуки, Кацуми Судзимото! Ты знаком с ними?

Он продолжал работать, раздумывая над этими именами. Казалось, он повторяет их шепотом: «Энмото, Сузуки, Судзимото».

Он сказал:

– Сузуки. Коротышка?

Я сказал:

– Да.

Он сказал:

– Знаю. Живет сейчас в Сан-Хосе. Женился.

Я хочу, чтоб вы поняли, насколько я интересуюсь воспоминаниями людей. Молодой писатель бывает в разных местах, расспрашивает людей. Пытается узнать, что им запомнилось. Для создания небольших рассказов я не пользуюсь роскошным материалом. И в этом повествовании тоже не произойдет ничего особенного. Я не выдумываю замысловатые сюжеты. Не леплю запоминающихся персонажей. Не пользуюсь изысканным стилем. Не воссоздаю утонченную атмосферу. Я не горю желанием продать этот или любой другой рассказ в «Сатурдей ивнинг пост», «Космополитен» или «Харперс». Не пытаюсь тягаться с великими мастерами короткого рассказа – Синклером Льюисом или Джозефом Гергешаймером, Зеном Греем, которые знают толк в сочинительстве, умеют сварганить рассказик, чтобы его купили, они – преуспевающий народец, разбираются во всех правилах построения сюжета, выборе героя, стиля и атмосферы. Я не жажду славы. Я здесь не для того, чтобы добиваться Пулитцеровской или Нобелевской премии или какой-либо награды вообще. Я здесь, на крайнем Западе, в Сан-Франциско, в комнатенке на Карл-стрит, пишу письмо, адресованное простым людям, толкую им на доступном языке о вещах, которые они и так знают. Я всего лишь веду записи. Так что, если мое повествование немного сбивчиво, это оттого,

что не спешу и не знаю правил. Если у меня и есть какое-нибудь желание, так это показать братство людей. Заявление громкое и звучит несколько претенциозно. Обычно мы стесняемся говорить такие вещи. Боимся, что утонченная публика нас засмеет. А я не боюсь. Я прошу, чтобы утонченная публика смеялась. На то и утонченность. Я не верю в расы. Я не верю в правительства. Я вижу жизнь в единственном числе и в одном времени. Миллионы жизней одновременно, по всему свету. Младенцы, не умеющие говорить ни на одном языке, и есть единственная раса на земле, род человеческий, все остальное, то, что зовется у нас цивилизацией, ненавистью, страхом, жаждой власти – притворство. Но дитя есть дитя. Братство людей – в детском плаче. Мы вырастаем и познаем слова языка и видим вселенную через призму известного нам языка: не через призму всех языков или через призму никакого языка – безмолвия, например, а мы замыкаемся в языке, который знаем. Здесь у нас мы замкнулись в английском, или, как его называет Менкен, в американском языке. Все, что есть вечного – в наших словах. Если я и хочу что-нибудь совершить, так это говорить на более универсальном языке. Человеческое сердце – вечная и общая для всех рас частица человека, не поддающаяся описанию.

Теперь я испытываю угрызения совести и чувствую себя дилетантом. Я столько тут наговорил, а, кажется, так ничего и не сказал. Вот что сводит с ума молодых писателей – ощущение того, что ничего не сказано. Любой журналист смог бы уложиться в три слова. Он бы написал: «Человек есть человек». Нечто разумное с любым количеством подтекстов. Но я хочу, чтобы в моих словах был один-единственный подтекст. Я хочу, чтобы смысл был внятным, и, может, поэтому язык столь невнятен. Я хожу вокруг да около своей темы, вокруг впечатления, которое я хочу произвести, и пытаюсь рассмотреть эту тему со всех сторон, чтобы сложилась цельная картина, картина цельности. В своих произведениях я пытаюсь создать подтекст человеческого сердца.

Разрешите попробовать снова: я давно не стригся, и вид у меня был жалкий, поэтому я отправился в парикмахерское училище на Третьей-стрит и уселся в кресло. Я попросил:

– На затылке оставьте побольше. У меня узкая голова, и, если вы не оставите на затылке побольше волос, я выйду от вас, похожий на лошадь. Снимите сколько пожелаете с макушки. Не надо ни лосьона, ни воды, причешите волосы, как есть, сухими.

Чтение делает человека самодостаточным, писательство – внятным, как видите. Вот что произошло. Рассказ не склеился, потому что я забыл про парикмахера, молодого человека, который меня стриг.

Он был высок, со смуглым, сосредоточенным лицом, плотными губами, на грани улыбки, правда, печальной, с густыми ресницами, грустными глазами и крупным носом. Я увидел его имя на карточке, прилепленной к зеркалу, Теодор Бадал. Хорошее имя, истинное. Хороший молодой человек, истинный. Теодор Бадал начал работать с моей головой. Профессиональный парикмахер никогда не заговорит, пока не заговорят с ним, и неважно, насколько переполнено его сердце.

– Это имя, – спросил я, – Бадал. Вы – армянин?

Я – армянин. Как я уже упоминал об этом. Люди смотрят на меня, строят догадки о моем происхождении, поэтому я им говорю сразу:

– Я – армянин.

Или же они читают что-нибудь из написанного мною и строят догадки, поэтому я им сразу говорю:

– Я – армянин.

Это ничего не значащие слова, но они ждут их от меня, и я их произношу. Я понятия не имею, что значит быть армянином, англичанином, японцем или кем-либо еще. У меня слабое представление о том, что значит жить. Это единственное, что очень меня интересует. А еще теннис. Надеюсь когда-нибудь написать великий философский трактат про теннис,

нечто сравнимое со «Смертью после полудня», но я осознаю, что еще не готов взяться за такой труд. Я чувствую, что насаждение тенниса среди народов мира будет в значительной степени способствовать искоренению расовой розни, предрассудков, ненависти и так далее. Как только я доведу до совершенства подачу и свечу, надеюсь начать описание этой замечательной игры. (Некоторым утонченным натурам может показаться, будто я высмеиваю Хемингуэя. Не высмеиваю. «Смерть после полудня» – добротная написанная проза. Мне и в голову не пришло бы цепляться к ней как к прозе. Я даже не могу придраться к ней как к философии. Я считаю ее более изящной философией, чем философию Уила Дюранта и Уолтера Питкина. Даже когда Хемингуэй валяет дурака, то делает это, по крайней мере, безупречно. Он повествует о том, что происходит на самом деле, и не позволяет мимолетности происходящего делать его повествование торопливым. Это многого стоит. Это достижение в области литературы – неторопливо излагать события, суть и значение которых скоротечны.)

– Вы армянин? – поинтересовался я.

Мы – народ малочисленный, и когда один из нас встречается другого, это целое событие. Мы все время ищем, с кем бы поговорить на родном языке. По оценкам нашей самой честолюбивой партии, в мире нас наберется миллиона два, но в большинстве своем мы придерживаемся иного мнения. Большинство садится, берет карандаш и бумагу и перебирает одну часть света за другой, пытаясь представить, сколько же армян может проживать в той части света, и записывает самое большое число на бумагу, а затем принимается за следующую часть света, Индию, Россию, Советскую Армению, Египет, Италию, Германию, Америку, Южную Америку, Австралию и так далее, а потом наиболее вероятные числа складываются и всего получается не больше миллиона. Потом мы начинаем думать, какой величины у нас семьи, насколько высока рождаемость и насколько низка смертность (за исключением войн, когда уровень смертности возрастает из-за резни), и начинаем представлять, как скоро мы расплодимся, если нас оставят в покое на четверть века, и чувствуем себя ужасно довольными. Мы никогда не учитывали землетрясения, войны, резню, голод и прочее, и в этом был наш просчет. Я помню кампании «Ближневосточной помощи» в своем родном городе. Мой дядя был нашим трибуном и доводил до слез целые залы, переполненные армянами. Он был адвокатом и замечательным оратором. Итак, первой напастью стала война. Враг уничтожал наш народ. Те, кого не убили, остались бездомными и голодали, *наша плоть и кровь*, говорил мой дядя, и мы все плакали. И собирали деньги, и посылали нашему народу на старую родину. Потом, после войны, когда я подрос, у нас проходила новая кампания «Ближневосточной помощи», и мой дядя стоял на сцене актового зала в моем родном городе и говорил:

– Слава Богу, на этот раз не война, а землетрясение. Господь заставляет нас страдать. Мы чтим Бога, вопреки всем тяготам и лишениям, страданиям и недугам, пыткам и ужасам, и... – Мой дядя всхлипнул и зарыдал вопреки безумию безысходности. – А теперь Он учинил вот это, но мы по-прежнему славим Его, поклоняемся Ему. Ибо неисповедимы пути Господни.

После кампании я подошел к дяде и спросил:

– Ты и в самом деле хотел сказать это о Боге?

И он ответил:

– Это риторика. Нам нужно собирать деньги. Какой еще Бог? Все это чепуха.

– А когда ты заплакал? – спросил я.

И дядя сказал:

– Это было по-настоящему. Я не мог сдержать слез. И какого черта все это обрушивается на наши головы? Чем мы заслужили эти истязания? Ни Бог, ни человек не оставляют нас в покое. Что мы такого натворили? Разве мы не богобоязненный народ? В чем наше прегрешение? Мне осточертели и Бог, и человек. Единственное, что заставляет меня подниматься

и говорить, – это то, что я не смею сидеть, набрав в рот воды. Мне невыносима мысль, что наши люди опять гибнут. Господи Боже, да что мы Тебе такого сделали?

Я спросил Теодора Бадала, не армянин ли он.

Он ответил:

– Я – ассириец.

Ну, это уже что-то. Они, ассирийцы, родом из той же части света, что и мы, у них носы похожи на наши, глаза похожи на наши, сердца похожи на наши. Язык у них другой. И когда они говорят, мы их не понимаем, но у них много с нами общего. Было бы лучше, если бы Бадал оказался армянином, но и так сойдет.

– А я – армянин, – сказал я. – Я был знаком с ассирийскими ребятами в своем родном городе – Джозефом Саркисом, Нито Элией, Тони Салехом. Ты кого-нибудь из них знаешь?

– Джозеф Саркис. Я его знаю, – ответил Бадал. – Остальных – нет. Пять лет назад мы жили в Нью-Йорке, потом переехали на запад, в Тарлок, теперь – сюда, в Сан-Франциско.

– Нито Элия, – продолжал я, – капитан Армии Спасения. (Пусть никто не заподозрит, будто я что-то выдумываю или пытаюсь развеселить вас.) – Тони Салех погиб восемь лет назад. Он ехал верхом на лошади, а она сбросила его и понеслась. Тони не смог выпутать ногу из стремени. Лошадь скакала с полчаса, потом остановилась, Тони нашли уже мертвым. Ему было четырнадцать. Я учился с ним в школе. Тони был очень способный, хорошо знал арифметику.

Мы заговорили об ассирийском языке, об армянском языке, о старой родине и о том, как там живет. Меня стригли за пятнадцать центов, и я делал все возможное, чтобы заодно чему-то научиться, познать новую истину, новое видение чуда жизни и человеческого достоинства. (У человека большое достоинство, не думайте, что он его лишен.)

– Я не умею читать по-ассирийски, – сказал Теодор. – Я родился на старой родине, но хочу ее забыть.

Голос его звучал устало – не физически, но духовно.

– Почему? – спросил я. – Почему ты хочешь ее забыть?

– Ну, – усмехнулся он, – просто потому, что там все погибло.

Я повторяю его слова в точности, ничего не прибавляя от себя.

– Когда-то мы были великим народом, – продолжал он. – Но это было вчера, позавчера. Теперь мы – глава в древней истории. У нас была великая цивилизация. Ею восхищаются до сих пор. А теперь я в Америке, учусь ремеслу парикмахера. Мы себя изжили как народ, нам каюк. Зачем же учить язык? Писателей у нас нет, новостей нет, хотя кое-что все-таки есть. Время от времени англичане науськивают на нас арабов, и те устраивают резню. Это старая история, мы все о ней знаем. К тому же новости доходят до нас и так – через «Ассошиейтед пресс».

Мне, армянину, было больно слышать подобное. Мне всегда было горько, когда мой народ истребляли. Я никогда не слышал, чтобы ассириец обсуждал такие вещи по-английски. Я проникся огромной любовью к этому парню. Не поймите меня превратно. В наши дни все так и норовят заподозрить тебя в гомосексуализме, если ты говоришь, что симпатизируешь другому мужчине. Теперь же мне симпатичны все люди, даже враги Армении, которых я тактично не упоминаю. Всем и так известно, кто они. У меня ничего против них нет, потому что я думаю о них, как об одном человеке, проживающем одну, отдельно взятую жизнь, а я знаю, уверен, что сам по себе не способен на чудовищные деяния, творимые толпами. Я ненавижу только толпы.

– Да, – сказал я. – У нас то же самое. Мы тоже древний народ. У нас еще сохранилась своя Церковь. Есть, правда, несколько писателей – Агаронян, Исаакян и еще кое-кто, а так все то же самое.

– Да, – подтвердил парикмахер. – Я знаю. Мы занимались не тем, чем надо, – простыми вещами – искали мира и покоя для своих семей. Не увлекались машинами, завоеваниями, милитаризмом. Не увлекались дипломатией и обманом, не изобретали пулемет и ядовитые газы. Разочаровываться нет смысла. Думаю, был и у нас звездный час.

– Мы живем надеждой, – сказал я. – Нет такого армянина, который и теперь не мечтал бы о независимой Армении.

– Мечтал? – спросил Бадал. – Вот видишь... Ассирийцы и мечтать уже не могут. А ты знаешь, сколько нас осталось на всем свете?

– Миллиона два или три, – предположил я.

– Семьдесят тысяч. На всем белом свете осталось семьдесят тысяч ассирийцев, и арабы продолжают нас вырезать. Семьдесят человек наших было убито месяц назад во время небольшого восстания. В газете была маленькая заметка. Еще семидесяти наших не стало. Так нас скоро совсем сведут на нет. Мой брат женат на американке, и у них есть сын. Надежды не осталось. Мы пытаемся забыть Ассирию. Правда, мой отец все еще читает газету, которая приходит из Нью-Йорка, но он пожилой. Его скоро не станет.

Потом его голос изменился, и он заговорил как парикмахер, а не как ассириец:

– На макушке достаточно? – спросил он.

Продолжать разговор было бессмысленно. Я сказал молодому ассирийцу «пока» и вышел из парикмахерской. Прошагал по городу четыре мили по пути к своей комнате на Карл-стрит, и все это время я раздумывал об Ассирии и ассирийце, Теодоре Бадале, что учился на парикмахера, о печали в его голосе, его безысходном настроении. Это было несколько месяцев назад, в августе, но с тех пор я часто думаю об Ассирии и хочу поведать про Теодора Бадала, сына древнего народа, юного и энергичного, но потерявшего надежду. Семьдесят тысяч ассирийцев, всего семьдесят тысяч уцелело из этого великого народа: все остальные умолкли в забвении и смерти, под развалинами величия, – а молодой человек в Америке учится на парикмахера и горько оплакивает свою историю.

Почему я не сочиняю сюжеты красивых любовных историй, из которых получилось бы кино? Почему я не пошлю столь незначительные и скучные темы куда подальше? Почему я не пытаюсь угождать американской читательской публике?

Потому что армянин. Но и Майкл Арлен – армянин, и он угождает публике. Я восхищаюсь им и считаю, что он отточил свой стиль до совершенства, но я не хочу писать о тех, про кого нравится писать ему. Начнем с того, что все персонажи у него неживые. А теперь посмотрите на Айову, на японца, на ассирийца Теодора Бадала. Может, физически они, как Айова, катятся к смерти или духовно, как Бадал, стремятся к гибели, но они сотканы из материи, которая вечна в человеке и потому привлекает меня. Таких людей, как они, вы не найдете в залитых светом местах среди отпускающих остроумные шуточки про секс или – между прочим – про искусство. Нет, они там, где я их и нашел, и останутся там навсегда. Они – род человеческий, частица человечества, частица Ассирии, Англии, частица, которую не уничтожить, не вырезать, не погубить ни землетрясением, ни войной, ни голодом, ни безумием – ничем.

Этот рассказ – посвящение Айове, Японии, Ассирии, Армении, роду человеческому, где бы он ни жил, человеческому достоинству и братству живых существ. Я не жду, что «Парамаунт Пикчерс» снимет кино по этому рассказу. Я думаю о семидесяти тысячах ассирийцев, о каждом живущем в отдельности, о великом народе. Я думаю о Теодоре Бадале, который и сам – семьдесят тысяч ассирийцев и семьдесят миллионов ассирийцев, он сам – Ассирия, он – человек, стоящий в цирюльне Сан-Франциско в 1933 году, сам по-прежнему является целым народом.

Среди пропащих

В дальнем углу за столиком Пол курил сигарету и листал «Новые веяния в английской поэзии», впитывая случайные фразы: *упрекают его за сентиментальные отступления, медитации на тему детерминистской вселенной, великая поэзия Томаса Харди, порыв... Эзра Паунд... Хью Сельвин Моберли...*

Он опустил книжечку в карман пальто и вышел из пружинных дверей на Оперную аллею номер один. Рэд, клерк из букмекерской конторы, рассказывал приятелю, как однажды три года назад его пырнул ножом какой-то сумасшедший русский, просадивший двадцать долларов на пони.

– Месяц в больнице, – сказал Рэд. – Мы не стали передавать дело в суд, чтобы не подмочить репутацию «Кентукки». Русский рыдал и божился, что больше никогда не придет на Третью улицу, так что мы спустили это дело на тормозах. Какое-то время они думали, что я помру.

Он ухмыльнулся сжатыми губами.

– Здесь мой дом родной, – сказал он. – Парни поймали его на углу у редакции «Икзаминера». Ну, мои друзья, все, кто меня знает. Хотели порешить.

Рэд окинул всех взглядом, чтобы убедиться, что его слушают.

– А знаете, – сказал Рэд, – когда я был в больнице, то очень переживал за этого чокнутого русского. Он, откуда ни возьмись, появился в контору и давай делать ставки, самые безумные ставки на свете, несусветные ставки на безнадежных лошадей. Ну, я сказал ему пару раз, чтоб он умерил свой пыл, да куда там! Потом он проигрался в пух и прах и сидел на той скамейке, уставившись на меня. Я чувствовал, что у него мозги набекрень съезжают, но откуда мне было знать, что у него еще и нож. Я думал, он набросится на меня, и даже не стал бы возражать, если бы он двинул меня в челюсть. Когда скачки закончились и все ребята разошлись, он все сидел на скамейке и поглядывал на меня. Тут уж не оставалось сомнений, что он сбрендил. Он и пырнул меня – прямо под сердце, но, знаете, как только он вонзил в меня нож, я за него забеспокоился. Я же чувствовал, что выкарабкаюсь, но вы бы видели этого сумасшедшего русского, на кого он был похож! Он что-то залопотал по-русски и пустился наутек по аллее, а Пэт и Браун – за ним в погоню.

Пол повернулся к Рэду.

– Ты никогда не рассказывал мне эту историю, – сказал он. – Что ты почувствовал сразу после удара?

– Ничего я не почувствовал, – сказал Рэд. – Я разразился страшной руганью, потому что в тот вечер мы с женой собирались на пляж. Я взбесился, потому что пляж накрылся. Я знал, что с этой раной попаду только в больницу, и стал ругаться.

Через пружинные двери Пол вернулся к столику в углу, дожидаясь Ламбофа. Смитти с бычьей шеей ходил между карточными столиками и время от времени выкрикивал: «Свободное место для игрока... еще одно место». Пол следил за проходящими и уходящими, они пересчитывали свои пятицентовые монетки, бормоча под нос, как делают играющие на мелочь. Он опять раскрыл книгу и прочитал: *небытие, модуляция, сдвиг ударения и ритма*. Потом он встал и прошелся по залу, изучая людей и запоминая обрывки речи. *«Есть лошадь на седьмом в Латонии, Темное море. Мне нравится Фоксхолл. Вчера было три победителя, но я был на мели. Состояньице»*.

Щуплый официант-ирландец по прозвищу Алабама разносил кофе по столикам, тупо глядя в никуда и вопрошая: «Сколько сахара?»

Пол стоял в дыму в ожидании Ламбофа. Было почти одиннадцать, а встреча была назначена на пол-одиннадцатого. Пол передал свою пачку сигарет худосочному чахоточному еврею.

– Возьми несколько штук, – предложил он; еврей улыбнулся и спросил у Пола, как дела.

– Гнусно, – сказал Пол.

Еврей простонал и прикурил сигарету.

– Я продаю цветы на улице, – сказал он, – а это незаконно. В субботу вечером меня упекли в каталажку. Только что вышел. Две ночи. Я не мог есть. Я не мог спать. Чувствовал себя как вывалянный в грязи. Вой стоит всю ночь. Ну что плохого в продаже цветов?

– Ничего, – сказал Пол. – Расскажи про тюрьму.

Он проводил его к столику в углу, и еврей сел напротив.

– Это местечко не для нас, – сказал еврей. – Они бросили меня в отстойник с тремя другими. Один был попрошайка. Кто были остальные, не знаю, но такие сволочи! Я не хочу сказать, что это преступники – они сами по себе отбросы. Всю ночь я чувствовал себя запертым с жабами, лягушками, бородавчатыми тварями, держался за дверь и плакал. Мне стыдно. Не так уж часто я плачу, но как же мне было паршиво. А в другой камере... но это совсем уж омерзительно.

– Расскажи, – попросил Пол. – Я никогда не сидел в тюрьме. Расскажи, как там.

– В соседней камере, – сказал еврей, – сидели два гомика. А двое других вели с ними разговоры... ну, шептались, уламывали их, а эти гомики отнекивались, ломались, как шлюхи-дешевки. Я не знал, что люди способны на такое. Я думал, они просто болтают, балагурят. И во всех камерах стоял этот мерзкий гогот. Меня все время тошнило, а сигарет с собой не было.

– Чем тебя кормили? – спросил Пол.

– Похлебкой... помоями...

– А хлебом?

– И хлебом, но я не мог есть. Только хлеб был съедобным, но мне было слишком тошно.

– Ты запомнил, о чем там говорили? Песни распевали?

– Да, – сказал еврей.

– А духовные песни?

– Духовные тоже, с похабными словечками.

– Кто-нибудь молился?

– Я слышал одну только ругань, – сказал еврей.

Пол заметил на противоположном конце медленно идущего Ламбофа с утренней газетой, тот подошел к столу, серьезный, и сел, не говоря ни слова.

– Этот парень только что вышел из тюрьмы, – сказал ему Пол. – Он продает цветы, а они его бросили за решетку в субботу.

Ламбоф посмотрел на еврея и поинтересовался, все ли у него порядке. Ламбофу показалось, что еврею очень нездоровится.

– Мне полегчало, – сказал еврей. – Все ж лучше, чем тюрьма.

– Что думаешь делать? – спросил Ламбоф.

Еврей кашлянул.

– Попытаюсь начать заново. Если поймают, то не знаю, что буду делать – попрошайничать я не могу.

Пол спросил Ламбофа:

– Сколько у нас денег?

– У меня шестьдесят центов, – сказал Ламбоф.

Еврей встал с места.

– Спасибо за сигареты, – сказал он Полу.

– Мы почти на мели, – сказал Пол. – Тебе сгодится четвертак?

Он выгреб мелочь из кармана брюк.

– Спасибо, – сказал еврей. – Я попытаюсь снова. Если они опять ко мне пристанут, сбегу.

Он заспешил в смятении прочь. Ламбоф проводил его взглядом.

– Здесь одни больные или выжившие из ума, – сказал он. – Этот бедолага готов пойти на дно. Что он говорил?

– Чуть не сгинул в тюрьме, – сказал Пол.

– Я ходил на Джонс-стрит, – сказал Ламбоф. – Там дали объявление в газете, что им нужен студент, который работал бы за жилье и пропитание. Работу мне не дали.

– Но ты же студент, – сказал Пол. – Ты имел право на эту работу. Кстати, что ты изучаешь?

– Я изучаю голодание, – сказал Ламбоф. – Да, я студент. Хотя мне повезло, что меня не взяли. Это была дешевенькая мебелирашка. Они наняли какого-то субъекта из Манилы.

– Что думаешь делать? – спросил Пол.

– Как всегда, ничего, – сказал Ламбоф. – Просто убиваю время.

– Как ты думаешь, мы найдем работу когда-нибудь?

– Наверняка, – сказал Ламбоф.

– Пока что дела у нас плохи, – сказал Пол.

– Да уж, – сказал Ламбоф. – Дела у нас неважные. Все как всегда, только прилично одетые люди попрошайничают на улицах. Я поговорил с той девушкой на Эдди-стрит. Нам опять придется спать в прихожей, если они там будут не слишком заняты.

– Как она поживает? – спросил Пол.

– Кто? – спросил Ламбоф. – Девушка? О, прекрасно. Выглядела отменно.

– О чем бы нам поговорить? – спросил Пол.

– Ты же меня знаешь, – сказал Ламбоф. – Не одно, так другое. Я знаю понемногу обо всем.

Пол достал из кармана пальто «Новые веяния в английской поэзии».

– А что ты знаешь об английской поэзии? – спросил он Ламбофа.

– О чем, о чем? – изумился Ламбоф. – Ты что, собрался рассуждать об экономике?

– Еще чего, – сказал Пол. – С ней мы покончили.

– Ну да, – сказал Ламбоф. – А какое нам дело до английской поэзии?

– Нам ни до чего нет дела, – сказал Пол. – Мы немного выпадаем из общей картины. Значит, ты ничего не знаешь об английской поэзии? И про Т. С. Элиота не слыхал?

– Нет, – сказал Ламбоф. – А кто это?

– Он, – сказал Пол, – весьма тонкий поэт.

– Ну и что с того? – сказал Ламбоф. – Кого это интересует?

– Если бы ты знал его, – сказал Пол, – поговорили бы, скоротали время. Раз уж на то пошло, расскажи-ка про Ирландию. Ты же, кажется, ирландец?

– Я-то ирландец, – сказал Ламбоф, – а что толку? Родился-то я в Канзасе. А в Ирландии и не бывал никогда.

– Ладно, – сказал Пол. – Скажи, какой ты представляешь себе Ирландию? До полуночи у нас еще уйма времени. Нужно же о чем-то говорить, а Ирландия – вполне подходящая тема.

Он стал выслушивать объяснения Ламбофа про то, что ему ничего не известно про Ирландию, кроме того, что он знает из песен, большей частью написанных в Америке евреями и прочими. Пока Ламбоф разглагольствовал, Пол думал, что раз в год нужно бывать среди бедствующих, пропадающих людей, испытать на своей шкуре, каково быть выкинутым за борт – не иметь ни настоящего, ни будущего, висеть в пустоте между днем и ночью и ждать.

«В полночь, – думал Пол, – я пойду с этим парнем в эту самую прихожую и попытаюсь уснуть на стуле, Смитти выкрикивает «Место для игрока... еще одно место», приходят играющие на мелочь, Ламбоф наутро рассказывает про Ирландию, хворый еврей в тюрьме, Рэда пырнул чокнутый русский, сентиментальные отступления, зимний вечер спустился, запахло бифштексами из-за дверей, медитации на тему детерминистской вселенной, читатели «Бостон ивнинг транскрипт», порыв, когда мистер Аполлинакс прибыл в Соединенные Штаты, его смех звенел среди чайных чашек, в разговорах растаял день, страна гибнет, вся молодежь, люди в ожидании, голодные марши, как только она рассмеялась, я почувствовал, что ее смех меня затягивает, Эзра Паунд, американец во Франции, мальчик читает старику с иссохшим ртом в ожидании дождя, порочная музыка на дне морском, дымящая свеча времен догорела, демократический прогресс, еврей в тюрьме схватился за дверь и плачет, в начале было Слово, Эзра Паунд *il miglior fabbro*, слезы сморщенного еврея, продавец цветов среди попрошаек и гомосексуалистов, медитации в дыму и на руинах детерминистской вселенной, сбрендивший русский бежит по Оперной аллее, Рэд истекает кровью, вытри рот рукой и смейся, смейся, маленький еврей стоит в грязи, схватившись за дверь, и плачет, все везде ждут, настанет время для убийства и творения, настанет, в самом деле, придет время, один юноша слушает другого, и ждет общенационального возрождения, время убивать и творить».

Я на этой земле

Начало всегда дается трудно, ибо вовсе не пустячное дело выбрать из языка одно-единственное, яркое слово, которое пребудет в веках. И любое изречение взятого в отдельности человека есть всего лишь одно слово. Каждый стих, повесть, роман и эссе, как и любой сон, есть всего лишь слово из этого языка, еще не переведенного нами, той бескрайней невысказанной мудрости ночи, того словарного запаса, который не подчиняется ни грамматике, ни законам. Земля необъятна. И все, что ни есть на земле, огромно – и небоскреб, и травинка. Глаз способен увеличивать предметы, если это позволяют разум и душа. Разум способен разрушить время, которое сродни смерти, а также – не забывайте – сродни жизни. Всего же грандиознее – наше «я», микроб человечества, из которого зарождается Бог и Вселенная, рай и ад, земля, лик человеческий, мое лицо и ваше. Наши глаза. От себя же скажу с благоговением – возрадуйтесь.

Я – молодой человек, живущий в старом городе. Сейчас утро. Я в маленькой комнате. Стою над кипой желтой писчей бумаги – это единственный сорт бумаги, который мне по карману – десять центов за сто семьдесят листов. На эту бумагу еще не нанесено ни единого слова, она девственна и совершенна. А я – юный сочинитель – только готовлюсь приступить к работе. Сегодня понедельник... 25 сентября 1933 года... какая благодать, что я живу, что я еще есть. (Я стар. За множество дней и ночей я исходил множество улиц и городов. И вот я нашел себя. Над моей головой, на стене этой маленькой, неприбранной комнаты фотография моего умершего отца. Я появился на этой земле с его лицом и глазами и пишу по-английски то, что он написал бы на нашем родном языке. И мы – один и тот же человек – один мертвый, другой живой.) Я отчаянно курю сигарету, ибо для меня наступил миг величайшей важности, а значит, и для каждого. Я собираюсь перенести язык, мой язык на лист чистой бумаги, и меня пробирает дрожь. Быть пользователем слов – такая большая ответственность. Я не хочу согрешить против истины. Я не хочу умствовать. Я очень этого опасюсь. Никогда я не вел себя благоразумно, и теперь, когда я занялся трудом, более величественным, чем сама жизнь, мне не хочется обронить ни единого фальшивого слова. Месяцами я твержу себе: «Ты должен быть скромн. Скромность – превыше всего». Я твердо решил не потерять своего характера.

Я – рассказчик, и у меня есть одно-единственное повествование – о человеке на земле. Я хочу рассказать эту незатейливую историю по-своему, позабыв о правилах риторики и хитросплетениях композиции. Мне есть что сказать, и я не желаю говорить, как Бальзак. Я не художник. Я не очень верю в цивилизацию. Я не в восторге от прогресса. Когда строится большой мост, я не ликую, когда аэропланы пересекают Атлантику, я не думаю: «Что за восхитительная эпоха!» Меня не интересуют судьбы народов, мне наскучила история. Что подразумевают под историей те, кто ее пишут и верят в нее? Как случилось, что человек, это скромное и симпатичное существо, поработано ради чудовищных документов? Как получилось, что одиночество человека нарушено, его божественность сведена к жуткому месиву убийств и разрушений? А еще я не верю в коммерцию. Все машины я считаю хламом – арифмометр, автомобиль, локомотив, аэроплан и, конечно, велосипед. Я не верю в транспорт, в перемещение тел. Я бы хотел знать, кому и куда вообще удавалось отправиться? Вы когда-либо покидали самого себя? Есть ли странствие более грандиозное и захватывающее, чем путешествие разума сквозь жизнь? Конец какого странствия так же красив, как смерть?

Меня занимает только человек. Я люблю жизнь. И преклоняюсь перед смертью. Я не могу бояться смерти, ибо ей подвержена только плоть. Кто оспорит, что сегодня и я, и мой отец – живы, что в моей плоти накоплено все прошлое рода человеческого? Но я презираю насилие и люто ненавижу тех, кто его творит. Нанесение раны мизинцу живого человека я

считаю неизмеримо более чудовищным и отвратительным, чем его естественную смерть. И когда сонмы людей калечатся насмерть на войне, меня охватывает горе, граничащее с безумием. Я становлюсь бессилён от негодования. Единственное мое оружие – язык, и хотя мне известно, что язык сильнее пулеметов, я в отчаянье от того, что не могу в одиночку искоренить понятие «уничтожение», возбужденное в людях пропагандистами. Я и сам, однако, пропагандист и в этом самом рассказе пытаюсь вернуть человеку его природное достоинство и доброту. Я хочу вернуть человека самому себе. Я хочу отослать его от толпы к собственному телу и разуму. Я хочу вырвать его из кошмара истории и возвратить к безмятежным мечтам его души, к истинной летописи его рода. Я хочу, чтобы он стал самим собой. Только скот можно сгонять в стадо. Когда из человека вынимают душу и он становится частицей толпы, плоть Божья терзается жгучей болью, и, следовательно, это акт кощунства.

Я против посредственности. Если человек – честный идиот, я способен полюбить его, но ни за что не полюблю бесчестного гения. Всю свою жизнь я высмеивал правила и традиции, стили и манеры. Как можно применять правила к такому чудесному творению, как человек? Каждая жизнь есть противоречие, новая истина, новое чудо, и даже аферы бывают интересными. Я не философ и не верю в философию. На само это слово я посматриваю с подозрением. Я верю в право человека противоречить самому себе. Например, разве я не говорил, что считаю машины хламом, и тем не менее разве я не поклоняюсь своей пишущей машинке? Разве она не самое ценное мое достояние?

А теперь я перехожу к своему маленькому повествованию. Это рассказ обо мне и моей пишущей машинке, и это, наверное, заурядная история. Можете открыть любой общенациональный журнал за пять центов и найти там куда более добротные написанные рассказы о любви и нежности, безысходности и страсти про Элмера Фаулера, Вилфреда Диггенса и Флоренс Фарвелл, Агату Юм и прочее.

Откройте эти журналы, и вы обнаружите уйму великолепных рассказов, богатых сюжетами, атмосферой, настроением, стилем, характерами и всем, что полагается иметь хорошему рассказу, точно так же, как в хороший майонез требуется добавить столько-то чистого оливкового масла, столько-то сливок и все это взбить. (Пожалуйста, не подумайте, что я позабыл про себя, будто я пытаюсь умничать. Я не высмеиваю эти журналы. Не высмеиваю их читателей. Эта проза, а также мужчины, женщины и дети, читающие ее, составляют один из самых трогательных документов нашего времени, как и голливудские фильмы и те, кто проводит большую часть своей сокровенной жизни за их просмотром, являются одним из лучших источников материала для порядочного романиста. Так или иначе, позвольте объяснить, когда я прихожу в кино, а деньги на билет у меня бывают редко, меня до глубины души пробирает поток чувств, исходящий от толпы, а кинохроника заставляет меня плакать жгучими слезами. Я не могу без слез смотреть на потопа, пожары, смерчи, крушения поездов, беспорядки, войны и лица политиков. Даже от невзгод Микки-Мауса мое сердце обливается кровью, ибо я знаю, что каким бы надуманным он ни был, он, в конце концов, олицетворяет человека.) Следовательно, поймите меня правильно. Я не сатирик. И смеяться вообще-то не над чем, к тому же все напыщенное и лживое и так содержит в себе насмешку над собой. Я только хочу подчеркнуть, что я писатель, рассказчик. Я пишу так, словно все периодические издания в стране только и кричат о моих произведениях, предлагают баснословные гонорары за все, что мне вздумается сказать. Я сижу в своей комнате, выкуриваю одну сигарету за другой и пишу свой рассказ, который – я знаю – никогда не выдержит жесткой конкуренции с моими более искусными и талантливыми современниками. Не странно ли? И почему это я, рассказчик, так привязан к своей машинке? Какую земную радость она мне доставляет? И какое удовлетворение я получаю от сочинения рассказов?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.